



Виктор Бейлис
Старик с розами

Рассказы... и другие рассказы



Виктор Бейлис

**Старик с розами. Рассказы...
и другие рассказы**

«Издательские решения»

Бейлис В.

Старик с розами. Рассказы... и другие рассказы / В. Бейлис —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-962324-9

Три первых рассказа заинтригуют читателя сюрреалистическими красками, а также легким оттенком постмодернизма. «... и другие рассказы» входят в корпус прозы автора, но они другие, потому что в них нет вымысла. Однако это и не совсем мемуары: они отступают от привычных традиций жанра. Скорее это просверки памяти, запечатлевшей самое светлое и печальное, самое забавное и веселое, а также самое удивительное и нелепое. Из этой мозаики возникает картина жизни общества и личности за полвека жизни в СССР. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-962324-9

© Бейлис В.
© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Об авторе | 6 |
| Дом, мясорубка, зеркало, отвертка | 7 |
| Грибы | 14 |
| Старик с розами | 22 |
| ...и другие рассказы | 29 |
| Самое первое | 29 |
| Смешное | 30 |
| Пушкин и дюк | 31 |
| Первая любовь, первая обида | 32 |
| Первый театр | 33 |
| Переезд | 34 |
| Встреча во Львове | 35 |
| Квартира | 36 |
| Знакомство со Львовом | 37 |
| Первая елка | 38 |
| Рынок | 39 |
| Перстень с барахолки | 40 |
| Рынок (продолжение) | 41 |
| Танючка | 42 |
| Патефон | 43 |
| Бинокль | 44 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 45 |

Старик с розами Рассказы... и другие рассказы

Виктор Бейлис

© Виктор Бейлис, 2019

ISBN 978-5-4496-2324-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Бейлис Виктор Александрович

Об авторе

Родился в 1943 г. Закончил Институт восточных языков при МГУ по кафедре африканистики. Кандидат филологических наук.

Автор ряда книг по фольклору, литературе, религиям народов Африки. Переводчик, эссеист, литературный критик. Книги художественной прозы:

- Реабилитация Фрейда. Бахтин и другие. Завтрак на пленэре. Актеон. М., 1992
- Американское издание: «The rehabilitation of Freud. Bakhtin and others» (Transl. by Richard Grose). N.Y. 2002
- Роман «Смерть прототипа, или портрет». М., 2005
- Английское издание: «Death of a prototype. The portrait. Transl. And with an introduction and afterword by Leo Shtutin. London, Anthem Press, 2017

Публиковался в журналах «Иностранная литература», «Знамя», «Звезда», «Новый мир», «Новое литературное обозрение», «Время и место», «Лехаим», сетевом издании «Букник».

Опубликовал статьи о современных русских поэтах в немецких литературных журналах. В 1992 году переселился в Германию.

Читал курсы лекций во Франкфуртском и Байрейтском университетах.

Дом, мясорубка, зеркало, отвертка

Андрей Берсенеv подыскивал себе съемную жилплощадь в Москве, и его привлекло объявление о двухкомнатной квартире в районе Замоскворечья. Этот район он знал и любил с детства и, даже живя вдали от этих мест, часто захаживал сюда – просто погулять и полюбоваться нерасхожими и незахвачанными достопримечательностями, а то и ничем не знаменитыми уголками, переулочками, домишками. Подойдя к указанному в адресе дому, Берсенеv почувствовал, что на него повеяло чем-то знакомым, как будто он бывал здесь прежде, входил именно в этот подъезд, подымался, сейчас скажу, на третий этаж без лифта, в девяную, кажется, квартиру. Он заглянул в свою записочку, там значилось: «Третий этаж, квартира номер девять». Дом узнавал Андрея и посылал ему теплое приглашающее дуновение. Андрей, как видно, тоже узнавал дом, но почему-то не мог совместить его с тем периодом своей жизни, в котором это место в Замоскворечье чем-то отмечено было в биографии Берсенева.

Андрей поднялся по лестнице, позвонил в знакомую, обитую тем же дерматином дверь и стал дожидаться, что и откроется эта дверь кем-то тоже знакомым. Но нет: на пороге стояла сухонькая старушонка, которую Берсенеv никогда прежде не видел, в чем готов был чем угодно поклясться. Оба въедливо разглядывали друг друга, и старушка, по крайней мере, осталась, судя по всему, довольна. Берсенеv заподозрил было, что хозяйка может оказаться впоследствии докучлива, но решил, что все будет зависеть от него самого: как поставит, как с самого начала заведется – без фамильярностей и при сохранении должной дистанции. Андрей сразу же отсеk возможность обращения друг к другу на ты, узнал имя-отчество старушки и назвал свое. Цена была приемлема для обеих сторон, Андрея также устраивала необставленность квартиры, то есть полное отсутствие мебели. Сделаем совсем небольшой ремонт и обустроим все по-своему, удовлетворенно подумал он.

Берсенеv быстро обо всем договорился с хозяйкой, назначили время, когда можно будет пригласить маляров, чтобы покрасить потолки и поклеить обои, кое-где заделать трещины в старых стенах, да и перевозить нехитрый скарб и некоторое количество новой мебели, в основном книжные полки.

Выйдя из уже снятой квартиры, Андрей вновь удивился тому, как хорошо он знает это место, как памятен ему именно этот дом, как узнаваем был вид из окон, к которым он только что подходил. Это не было подложным чувством *deja vu*, Андрей это точно знал, просто из его воспоминаний было почему-то вынуто главное: почему и у кого он бывал в этом здании, в этих двух комнатах с высокими потолками, с кем пил чай (а может, и что покрепче) на этой кухне.

Настал, наконец, день, на который Андрей после ремонта в квартире назначил переезд. На полу уже стояла кровать, и к ней вела узкая тропка, виляя между картонными коробками, в которые была упакована вся его библиотека. На кухне поставили холодильник и всю утварь. Оставшись один после отъезда грузчиков, Берсенеv поставил на газ чайник и задумчиво выпил подряд две чашки чая.

– Нет, – решил он, – стол должен стоять в другом месте.

– А почему, собственно, в другом? И почему должен?

Сам себе ответил:

– Не должен, конечно, но прежде он стоял здесь. И так убедительно с достоинством, даже важностью укоренился именно здесь, будто на этом месте вырос, словно бы тут и родился, и был прежде маленьким и хрупким, а после стал массивным и торжественным, как патриарх во главе стола.

Да, так и подумал о стоявшем здесь некогда столе, как о главе семейства во главе стола. Кухня потребовала, чтобы главный предмет кухонной обстановки был помещен на привычное ей место, и Берсенеv с готовностью выполнил ее повеление, поправляя положение ножек

с точностью до сантиметра, хотя прежний стол был, кажется, больше. Ну, он ведь и жил здесь дольше, нашел объяснение Андрей – и внезапно успокоился, тут-то как раз и заметив, что до того был несколько взнервлен.

Наметив, где надо будет укрепить полки, Андрей достал дрель и дюбели, но прежде захотел повесить те немногие картины, которые ему в разное время дарили друзья-художники. Для первых двух небольших пейзажей он без всяких затруднений нашел место, но дальше начались просто мучения. Вот, казалось бы, подходящий уголок, но как только Берсенева прилаживал холст к стене, картина буквально с силой вырывалась из рук, давая понять, что не хочет занимать не свое место. В изнеможении Андрей примерил картину прямо напротив окна, и она вдруг словно бы прилипла к стене, причем заметно вильнув и приподнявшись на два сантиметра выше, чем наметил владелец. Она действительно повисла, как если бы села на заготовленный шуруп, хотя ни дрели, ни дюбеля, ни тем более шурупа Андрей в дело не запускал. Картина хотела находиться здесь.

– Боже мой, да она же здесь и была от своего рождения, – понял Берсенева, и ему сразу же все стало очевидно: прояснились в нем страшно мысли.

Он все вспомнил: эту квартиру некогда – очень давно – занимал художник К., ныне покойный, с которым Андрей приятельствовал несколько лет вплоть до самой его (весьма ранней) кончины, наступившей, по словам друзей, от передоза.

С этой минуты у Андрея больше не было никаких шероховатостей в отношениях с мебелью и недоразумений в процессе развешивания картин: от покойного К. у него было еще несколько работ. Он припомнил, где они обретались до того, как были подарены ему.

Во всех своих прежних жилищах Андрей не вывешивал эти картины, поскольку заметил (и не только он), что эти холсты, как и другие опусы К., о чем-то пророчили, в них была вещая сила, и она предвещала недоброе адресно, то есть определенно тому, кто вступал во владение картиной. Знал ли об этом К., когда намечал свое произведение для подарка или продажи? Во всяком случае, подозревал, это точно. Злым и агрессивным человеком он не был, несчастья никому не желал, но знал ведь что-то, когда преподнес Берсенева на день рождения картину, которая еще успела повисеть в гостиной той квартиры, где Берсенева жил со своей первой женой. К. после того праздничного дня больше в этой квартире не бывал – его вскоре не стало. Что касается Андрея, то через две недели после своего дня рождения он лишился и квартиры и жены.

Рассмотрим же картину – вот она висит теперь в новом жилище Андрея, поскольку свое уже, по мнению Берсенева, отпророчила и теперь служит лишь воспоминанием. На холсте изображен дом, расположенный в уютном месте. Взгляд притягивает окно, сквозь которое различимы фигуры людей – мужчины и женщины. На столе зажжена свеча. Женщина в белой ночной сорочке сидит на постели, и одна туфелька как раз спадает с ее ноги. Словом, здесь явная цитата: и «падают два башмачка со стуком на пол» и «свеча горела». Но при этом как бы без трагической подоплеки, все светло и комфортно. Но – отрывая взгляд от манящего к себе окна, и рассматривая картину в целом, внезапно получаешь удар по печени: крыша спокойного внутри дома уже объята пламенем, вступающим в контрапункт с огнем свечи. Как художнику удалось добиться того эффекта, что взгляд на горящую крышу обращается лишь в последнюю очередь уже после того, как умиротворился домашней идиллией, – этого никто никогда не понимал.

Так или иначе семейный очаг Андрея выгорел дотла. Было ли это последнее предвещание художника предупреждением другу? Или же он ни за что не подарил бы близкому человеку такое предсказание, если бы догадывался, о чем может говорить его работа? Никто теперь этого не скажет.

Берсенева стал припоминать, каким образом он подружился с К. Не сразу, но восстановил цепочку событий, благодаря которым они познакомились. Тогдашняя жена Андрея (первая,

а было их еще три) проводила отпуск в одном из домов творчества, как называли места отдыха писателей, художников или композиторов. Там она забрела в бильярдную, и человек, в полном одиночестве гонявший шары по столу, щеголявший виртуозностью перед самим собой, вызвался обучить ее этой игре. Она охотно откликнулась на его предложение. Разговорились, конечно же, нашли общих знакомых, даже установили, что виделись прежде в каком-то застолье. Они нашли и тотчас же признали друг в друге достойных собеседников, и, когда Берсенева в субботу приехал навестить жену, К. был представлен ему, сразу же понравился, они втроем выпили две поллитры и допоздна болтали: и балагурили, и вполголоса обсуждали какие-то проблемы, экзистенциально важные для всех, кто жил в домах творчества.

Когда в следующую субботу Андрей вновь приехал с визитом, он заметил в жене некоторую настороженность. На его расспросы она отвечала, что все в порядке, но потом призналась, что К. как-то неуклюже приволокнулся и что между ними повисла весьма некомфортная для обоих неловкость.

– Но ведь он же не был с тобою груб? – задал наводящий вопрос Берсенева.

– О нет, – сказала она, – да, в сущности, ничего и не произошло, но...

– Но что? – спросил Андрей.

– Но... как бы это сказать? ... он мне физически неприятен.

– А если бы приятен? Тогда совсем другое дело, не так ли?

– Тогда другое, – отрезала жена.

Потом добавила:

– Чтобы загладить казус, он принес мне в подарок картину, которую здесь написал. Пойдем покажу.

На картине был изображен дачный деревянный туалет, выкрашенный в зеленый цвет и с вырезом в верхней части двери в виде сердечка. Возле входа в сортир располагался пень, вероятно, недавно выкорчеванный. Перед пнем, обнимая его, стоял на коленях мужчина и спал, положив на пень голову, как на плаху. Черты лица изображенного не оставляли сомнения, что это автопортрет.

– М-да, – только и сказал Берсенева.

– Вот видишь ли, мне и картина эта чем-то неприятна. Словно бы спазмы какие-то в животе.

– Ничего, – попытался утешить жену Андрей, – просто к ней нужно привыкнуть. Вот повисит она у нас пару недель, и ты станешь разглядывать ее в деталях.

– Нет! – резко сказала она, – я не хочу, чтобы она висела в нашей квартире.

Несмотря на юный возраст тогдашнего Берсенева, ему достало мудрости не придавать значения инциденту, описанному женой, и не задираться. Он представлял себе, на что способен холостой (да хоть бы и женатый) мужчина в доме отдыха наедине с молодой дамой. И сам-то Андрей в прошлом году в командировке... ну, да не об этом сейчас. И он не только не стал избегать встречи с К., но даже, напротив, поторопился увидеть его, чтобы продолжить разговоры, затеянные еще в прошлый приезд. Они вдвоем расположились в комнате К. (жена, сославшись на головную боль, не пошла). Достали заготовленную водку, К. взял гитару, настроенную по-цыгански. У него был очень гибкий приятного камерного, или лучше сказать: домашнего, тембра голос, и репертуар его был и разнообразен и лишен пошловатости, которая обычно присутствовала почти у всех известных Берсенева бардов. Кстати, и песни у К. по большей части принадлежали ему самому – и слова и музыка.

Это был последний день К. в доме творчества. Обменялись телефонами и адресами. К. пригласил зайти посмотреть его работы. Договорились о времени визита, и Андрей с женой отправились в назначенный день в Замоскворечье, не отказав себе в удовольствии, прежде чем зайти в дом, пройтись по Берсенева набережной.

По технике своей холсты и рисунки К. напоминали о гиперреализме, но с пародийным оттенком, по направлению же своему склонялись к сюрреализму. Во всех присутствовал если не сюжет, то, по крайней мере, намек на него. Не всегда переводимый в слова, поскольку некий поворот содержался в неожиданной деформации палитры или фигуры, в дисфункциональности предмета или странном переносе функции. Одиночество, боль, пустыннось и насмешка природы и общества над человеком. К. показывал картины молча, никак их не комментируя. Он только поглядывал время от времени на гостей и вздрагивал, когда жена Андрея почти бесшумно сглатывала слюну.

Тот визит завершился вручением Берсеневу подарка – картины, у которой Андрей, как заметил К., задержался более всего. У К. была серия пастелей с изображением вещей как их портретов, например, ванна, наполненная водой, выполненная с применением обратной перспективы, наперсток с воткнутой в него иглой, из-под которой выступает кровь, сигарета в пепельнице, еще дымящаяся, дымок от которой тянется за пределы стола, а там превращается в капли и струей стекает на пол. Берсенева получил в подарок портрет взбесившейся мясорубки. Что она там проворачивала, было непонятно, но ручка ее так широко и криво двинулась в сторону, будто сама себе скомандовала: раззудись плечо, размахнись рука. И остановить этот размах и эту удаль, видимо, не представлялось возможным. Идея утраты разума умными вещами (а бытовые предметы именно к разряду таких вещей и принадлежат) показалась Андрею и новой и интересной, и он действительно выделил мясорубку как наиболее удавшуюся из серии.

Жена Андрея со временем утратила чувство физического дискомфорта от присутствия К. и зачастую, когда Берсенева планировали позвать гостей, напоминала:

– Кажется, мы давно не приглашали К.

И Андрей с готовностью поддерживал ее: ему нравились застолья в компании К. Хотя, бывало, К. напивался и пытался, всякий раз, впрочем, неудачно, приволокнуться за какой-нибудь дамой. А поскольку дамы в гостях у Берсеновых почти всегда были замужними, могли вспыхнуть и скандалы. Однажды выяснилось, что один из мужей не стерпел и, уже покинув дом Андрея, подрался с К. и сломал ему палец. Приятели Берсеновых разделились на два лагеря: одни просили не звать их в гости, когда намечалось присутствие К., другие же, напротив прямо-таки узнавали заранее, не будет ли вечером тот милый человек, который так стойко и так забавно выдерживает философскую перепалку с выдающимися умниками, знатоками Шестова и Хайдеггера, а также знает новейшие анекдоты и песни Хвостенко-Волохонского.

Было известно, что К. много работает, но при этом едва сводит концы с концами, за дешево продает свои работы, хотя расставаться с ними не любит, разве что предназначает их в подарок (с приношениями, надо сказать, был щедр). Он поначалу часто звонил по телефону, но Андрей брал телефонную трубку лишь по крайней необходимости, считая посредничество техники в человеческом общении неестественным и – в своем случае – совершенно вымученным. Жена принимала эти разговоры на себя, и постепенно так сложилось, что какие-то свои душевные беседы К. вел именно с ней, только ей и рассказывая о перипетиях своей жизни, никому больше не открываемых.

Однажды Андрей, в поздний час вернувшийся с какого-то банкета, застал у себя дома К. сам-третей с мадам Берсеновой и бутылкой водки. Глаза его были красны – то ли от алкоголя, то ли от слез (Андрей не стал этого выяснять). Когда, посидев еще какое-то время, К. попрощался, Андрей вопросительно посмотрел на жену, но она только молча в отрицательном смысле покачала головой.

Андрей и не любопытствовал: он не любил вторгаться в чью-либо частную жизнь, давать советы, хотя бы и испрошенные, поневоле изображать многоопытную житейскую мудрость – самому бы выплыть при случае. Женщины, как Андрей уже знал, относятся к роли наперсницы совершенно иначе, они никогда не пренебрегут предоставленной им возможностью задать глу-

боко личный вопрос, проникающий в самое средоточие интимного клубка, и с полной уверенностью в себе и собственной природной интуиции выдать совет о надлежащем поведении, возможном разговоре и способе его проведения. Мужчинам же, которые нашли женское ушко, именно этого и надобно; они с благодарностью принимают советы, коим все равно не следуют, если они не совпадают с их заранее принятым решением. Просто им нужно именно женское участие, обеспечивающее некий эрзац близости, в которой им было отказано другой женщиной.

Не сразу, но все-таки Андрею пришлось отгонять от себя мысль о том, что К. ищет в его жене не только, а может быть, и не столько советчицу. Он успокаивал себя воспоминанием о разговоре, в котором жена признавалась в физической неприязни к этому мужчине. Он полагал, что такую неприязнь победить невозможно, и – совершенно напрасно – не допускал, что постоянное восхищение прозорливостью женщины и действенностью ее рекомендаций может существенно повлиять на ее внутреннюю секрецию и растопить любые айсберги. Андрей догадался, что, по крайней мере, один раз его жена преодолела свое отвращение к их общему другу, но эта догадка озарила его уже после того, как его жена ушла от него к своему следующему мужу.

Все произошло в очень короткий промежуток времени: последний перед кончиной визит К., прозрение Андрея, объяснение с женой и ее уход, обмен квартиры и раздел имущества. Что касается до живописных работ, то каждый из бывших супругов взял с собой лишь то, что ему было подарено.

Вот теперь, после многих мытарств, жизненных невзгод, счастливых и неудачных связей – брачных и внебрачных, – сняв квартиру в Замоскворечье, Берсенева впервые за все время развесил свои коллекционные ценности по стенам. Некоторые из них, как мы видели, заняли привычное им место. Только что теперь, через пару десятков лет после их создания, они сильно возросли в цене, поскольку слава былых приятелей-художников, в частности К., вспыхнула и продолжала укрепляться.

Одной из первых нанесла Берсеневу визит на его новую квартиру дочь от второго брака.

– Ого, – сказала она, – вот это картины! Это все твое? А почему ты их никогда прежде не вывешивал?

– Почему же, разве ты не помнишь вот эти и эти?

– Эти хорошо помню, но вот эти (она указала на работы К.) вижу впервые. Они очень ... (она подыскивала слово) экспрессионистские (неуверенно), да?

– Ты хочешь сказать – выразительные?

– Ну да, – засмеялась дочь, – оказывается русское слово всего труднее найти.

– Ты сама все и объяснила: они будоражат и тревожат, квартиры же невелики, и на небольшом пространстве, занимаемом родителями и детьми лучше размещать что-нибудь умиротворяющее, вот как эти пейзажи.

– Помогли тебе эти пейзажи сохранить спокойствие семьи и мир в доме?

Берсенева засмеялся и обнял дочь.

– Я всегда боялся твоих травм и, поверь, несколько лет поддержание мира в доме придавливало лишь мои плечи.

– Я это знаю, папа, но как ты думаешь, если мне это известно, то был ли и впрямь мир в доме? Не отвечай – и будет об этом! Знаешь, картины К. почему-то напомнили мне о Гоголе, и я давно уже хотела посмотреть, какие главы из второго тома «Мертвых душ» сохранились. У тебя ведь есть собрание сочинений Гоголя?

– Сама возьми вон на той полке, а я схожу на кухню – что-нибудь накрою для ужина. Садись вот за письменный стол, тут удобная лампа – зажги и читай.

Через несколько минут Андрей услышал страшный продолжительный крик дочери. Вбежав в комнату, он увидел, что дочь опрокинула кресло, на котором сидела, и стоит, прижав-

шись к стене, и с ужасом наблюдает, как на столе горит книга. На плече у Берсенева был кухонное полотенце, и он забил им пламя.

– Что случилось? – спросил он, справившись с огнем.

– Не знаю, – все еще дрожа от страха, ответила она. – Вначале как-то забавно подмигивала лампа, то сужая, то расширяя пучок, меняя его интенсивность и окрас, то есть освещая книгу то красноватым, то желтым светом. Потом она взорвалась и высыпала на книгу пылающие шарики. Книга сразу же вспыхнула, я отскочила. Папа, я – трусиха, и я чуть не сожгла твою новую квартиру.

– Успокойся, доченька, все в порядке, но теперь, по крайней мере, известно, кто на самом деле сжег второй том «Мертвых душ».

Берсенева не стал покупать новый стол; садясь за него, с подозрением смотрел на выжженное место, с опаской поглядывал на свежевкрученную лампочку и осторожно шелкал тумблером. К лампе постепенно привык, а искореженный стол время от времени вгонял его в задумчивость.

А еще к Берсеневу приходили женщины. Одна из них сказала ему:

– У тебя странное зеркало! Когда я подхожу к нему, оно словно бы запотеваает.

– Неудивительно: в ванной всегда пар.

– Да в том-то и дело – не в ванной, а вот здесь у шкафа, и я еще ничем не разгорячена.

Подойди-ка, подойди-ка сюда. Смотри!

Берсенева подошел, заготовив какую-то шутку вкупе с милым интимным жестом, но и шутка застряла у него во рту и руки повисли. Зеркало не столько запотевало, сколько заволакивалось туманом, из которого едва проступали отражения стоящих перед ним женщины и мужчины. Андрей тогда испугался даже больше, чем его дама; она предполагала некоторую забавную странность, он же явственно ощутил агрессивную аномальность.

– Принеси тряпку, я протру, – предложила женщина.

– Не надо, – отклонил услугу Андрей, – просто пользуйся вон тем зеркалом, а это надо будет сменить.

Он и сменил зеркало, но уже другая женщина через несколько дней обратила его внимание на некую странность поведения нового стекла у шкафа.

Андрей стал определенно догадываться, в чем дело, когда его чайник со свистком отказался свистеть вскипая, но зато что-то неразборчивое, но на вполне человеческом языке бормотал, когда его наполняли водой. А его носик вскорости до того раздулся, что отказывался принимать свисток, который никакими силами не удавалось на чайник нахлобучить. Более всего Андрей стал опасаться мясорубки и прямо-таки замахал в ужасе руками, когда одна из его посетительниц предложила ему изготовить котлеты из имеющегося куска мяса. При этом Берсенева взглянул в сторону портрета мясорубки на картине К., и ему показалось, что замах ее ручки стал еще круче.

Но зато Андрей, уже зная особенности зеркала, полюбил подходить к нему и подолгу вглядывался в туманность у себя за плечами, пытаясь разгадать, в какие фигуры складываются серые тучеподобные клубы. Так в детстве ему нравилось летом лежать на траве и, запрокинув голову, следить за тем, во что превращаются набежавшие друг на друга, соединившиеся и складывающиеся в новые формы облачка. И тогда, и сейчас возникали в воображении какие-то сюжеты, особенно когда была возможность проследить некоторую последовательность и закономерность в происходивших на глазах метаморфозах. Стоя перед зеркалом, Андрей подчас превращался в зачарованного зрителя театра теней, театра, доступного только ему, но непроницаемого для прямого взгляда, – только за спиной и только в отражении. Вот только что от чего отражалось? Какие-то сгущения воздуха? пространства? времени? мысли? Какие-то смыслы, постигаемые лишь посредством амальгамы.

Отрываясь от зеркала, Берсенеv подходил к обожженному столу и без всякой мысли что-то записывал, просто составлял слова – одно к другому – в том порядке, в котором они ему являлись. Он полагал, что, если он таким образом будет описывать трансформации теней в стекле, то ему когда-нибудь откроется скрытый смысл его видений.

Однажды после теперь уже ежедневного театрального представления и последовавшей за ним фиксации действия посредством письменных записей Андрей подошел к окну, чтобы немного передохнуть. Росшая перед окном береза замахнулась на него веткой. Жест был точь-в-точь как машут тыльной стороной ладони, говоря неприятным тоном: «Пошел! Пошел отсюда! Прочь, прочь! Уходи сейчас же!» Сидевшая на ближайшей к берсенеvскому окну ветке кошка зашипела: «Пиш-ши! Пиш-ши!».

Андрей отступил и вернулся к столу: ничего не поделаешь – всем нужны его записи, и только он, видимо, может докопаться до сути.

Чтобы лучше организовать поток записываемых слов, Андрей захотел послушать «Хорошо темперированный клавир» в исполнении Гленна Гульда. Он взял лежащий на столе пульт управления и нажал кнопку включения. Аппарат не включался. Андрей сменил батарейки. Диск не работал. Берсенеv взял отвертку, что в его случае было бессмысленно: он ничего в технике не понимал. Однако же как только отвертка оказалась в его руках, диск неожиданно включился, но вместо ожидаемой прелюдии из проигрывателя неожиданно грянуло: «We all live in the yellow submarine». Андрей не желал этого слушать и попросил дистанционный пульт прекратить воспроизведение. Тщетно! Пульт не работал. Андрей опять обратился к отвертке. Она остановила желтую подложку, но вместо нее включила «Серенаду солнечной долины».

– Нет! – закричал Андрей. – Хочу Гульда!

– You'd say so! – сказал Гульд и заиграл Баха.

– Да, – думал Берсенеv, – да, именно это.

И до него дошло: окружавшие его предметы постепенно и медленно сходили с ума, кроме тех, что уже были взбесившимися.

Январь 2016

Грибы Детективный рассказ

От меня ушла жена. Я сильно горевал и не знал, куда приткнуться.

Бесцельно слоняясь по улицам, я столкнулся с приятелем, которого давно не видел.

– Попов, что с тобой стряслось? – спросил он, увидев меня.

– Ничего... Впрочем, что там... Я теперь один...

– Она тебя кинула, наконец, твоя красоточка? Как хорошо!

– Что хорошо? – растерянно огрызнулся я.

– Да просто отлично! Я давно этого ожидал. Красоток надо брать не в жены, а в любовницы. От прелестницы только и жди, что передумает, да и уйдет. Ну, ушла любовница – горе, конечно, но не беда. А ты представь, что ушла наложница. Эко дело: детей ведь нет!

– Попов, слушай, я завтра иду по грибы. Партнера у меня нет. Пошли, а? Возьми сапоги, плащ, корзину, рюкзак. Ладно, корзину я для тебя захвачу. Завтра на Курском вокзале в одиннадцать вечера.

– Почему так поздно?

– Идем с ночи.

– Куда?

– Там увидишь. Жду! – хлопнул он меня по плечу.

Я глядел ему вслед. Что-то странное было в этой встрече: и та стремительность, с которой он возник, в то время как я шатался по городу, и тот напор, с которым он пытался вполне тривиальными аргументами развеять мою тоску, и неожиданное приглашение на грибную охоту – незнамо куда. Все это было чем-то подозрительно для меня, хотя я, надо сказать, впервые за последние дни почувствовал что-то, похожее на удовольствие от предвкушения завтрашней вылазки. Потом додумаю...

Я знал, что после похода в лес грибы еще долго мерещатся – и наяву, и, в особенности, во сне, как бы вплывая в поле зрения и вызывая в памяти то место, где они были срезаны. Той ночью я видел их заранее, я любовно помещал их в те места в лесу, где я их найду. Одни были крепкие и тугие, заполнявшие целиком всю ладонь, другие – осклизлые и липкие, не сразу дающиеся в руки, передающие пальцам свою слизь и тем самым лишаящие руки хватистости. Тактильные ощущения в обоих случаях невыразимо прекрасны.

Еще я видел пруд, не помню, чем удививший меня, и наш привал, во время которого мы азартно лупили захваченные из дому крутые яйца, обсуждая при этом давнишнюю дилемму, с какого конца – тупого или острого – следует разбивать яичную скорлупу. У меня не было определенного правила, хотя я, кажется, склонялся к тому, что широкий конец более приспособлен для старта, приятель же имел твердое убеждение, от которого ни в коем случае не отказался бы, что лупить надо с острого конца.

– Наша семья, – говорил он, – принадлежит к партии остроголовиков.

И он внимательно следил за тем, чтобы приготовленные мною яйца были облуплены по директивам его партии.

Это то, что я с определенностью запомнил из своего сновидения; остальное – какие-то несвязные и расплывчатые, совершенно не расшифровываемые обрывки, которые, впрочем, восстанавливались на следующий день – по мере их воспроизведения или частичного повторения... наяву.

Так вот: грибы я стал собирать как бы заранее – за сутки до того, как мы отправились в Подмоскowie. Лес я уже знал; в неведении я был лишь о том, как называется место, куда мы направлялись.

Мы с Анатолием встретились, как и договорились на Курском вокзале (я забыл сказать, что дело происходило в первой половине восьмидесятых). Мой порыв купить билет на поезд вызвал усмешку моего друга:

– Это последний поезд в нашем направлении, на него никто никогда билеты не покупает, – обучал меня Анатолий, – да я не знаю, продают ли на него билеты? Мы едем до станции Ч. Это за две остановки до конечной. Ехать часа два.

Мы вошли в вагон, который принадлежал составу дальнего, а не пригородного следования и был плацкартным, то есть в нем были не сидячие, как в электричке, а спальные места. Поначалу никого, кроме нас, не было, потом места стали занимать пассажиры, но на наш спальный отсек никто не претендовал. На номера мест никто не смотрел, потому что сверять с номером, как и предсказывал приятель, было нечего: билетов не существовало. Люди, сами себя командировавшие в столицу за колбасой и консервами, возвращались с покупками домой после почти 24-часовой беготни по метрополии. Они вспотели и устали. Многие сразу же разулись, а некоторые еще и развернули портянки, разложив их на просушку. В общем воздух в вагоне сразу же стал... как бы это сказать... каким-то родным и свойским.

Захотелось выпить. Было такое ощущение, что в этой атмосфере можно даже и не закусывать, потому что было, чем занюхивать. Я молча достал водку, приготовленную на завтра, и поставил на стол. Приятель так же молча кивнул, и мы выпили по стакану. На нас не обращали внимания, никто не последовал нашему примеру, в компаньоны нам не навязывались, ни один не попросил налить и ему стаканчик, как никто и со своим пузырем к нам не подсаживался.

Прежде, чем долить стаканы оставшейся в бутылке влагой, мы вяло переговаривались, пока не заговорили о женщинах. Вначале абстрактно, так, вообще о женском поле, потом в деталях, а там и конкретно: о наших любовницах и женах – моей бывшей и его нынешней. Думая, что я, будучи брошенным, с удовольствием приму критические высказывания в адрес покинувшей мя жены, Анатолий принялся с азартом раскрывать передо мной все, что он всегда «прозревал» в ней, а я ничего этого не замечал, хотя любому человеку с маломальским жизненным опытом это должно было быть ясно, как дважды два...

Я повелся вначале на заданное беседе направление, но потом, несмотря на некоторую задурманенность сознания, вызванную спиртным и вагонными испарениями, мне стало неловко от того, что мы, в сущности, оба говорим гадости о женщине, какой бы она ни была, и я попытался переменить тему, но добился лишь того, что Анатолий спросил у меня:

– Ну, а как у тебя с Ниной?

– А?

– Я говорю: с Ниной-то у тебя как?

– Ссс к-к-какой Ниной?

– Да будет тебе! Запираться нет смысла. О вашей связи давно известно.

– Об этой связи я сам узнал совсем недавно, – озадачился я.

И впрямь: с Анатолием мы не виделись очень долго, встреча с Ниной произошла не более месяца назад, а наше с ней сближение и того позже.

– Ты знаешь Нину? – заподозрил я.

– Ну да, а что?

– У вас что-то было? Только честно.

– Не залупайся, Попов, ничего не было.

– А откуда ты знаешь про нас?

– Ну, не один же я знаю...

– Ах, да: ты же прятельствуешь с Борисом. Стало быть, Борис в курсе?

- Разумеется, а что?
- Ничего, просто я думал, что у нее с Борисом все кончено...
- Ох, не занудствуй! Конечно, кончено. Стала бы она ему рассказывать, если б не кончено? – и Анатолий вдруг затынул низким голосом:

Как сон, неотступный и грозный,
Мне снится соперник счастливый,
И тайно и злобно
Кипящая ревность пылает,
И тайно и злобно
Оружия ищет рука.

В ответ я схватил уже пустую бутылку и, показав ее приятелю, объяснил, что моя рука *нашла* оружие.

- Тебе не нравится, как я пою? – удивился Анатолий.
- Нет, твой голос нехорош, ты *бесчувственно* поешь.
- Ладно, ладно, больше не буду. А ты готовься к выходу: мы приехали.

Место, где мы выгрузились из вагона, иначе, чем рельсами в чистом поле, назвать было нельзя. Стояли несколько стогов сена. Стелился туман. Было холодно и влажно. Ни одного огонька. Ни тропки не видно.

– Пойдем, – сказал приятель, – здесь неподалеку стоит изба; в ней живет одинокий старик, который за небольшую плату пускает поспать на полу.

- Ночь ведь на дворе. Неудобно. Да и побоится двух незнакомых мужиков впускать.
- Ты из всего создаешь проблемы. Идем.

Мы нашли дом и постучались в дверь. Не дождавшись ответа, стали стучать в окно. Отзыва не было.

– Должно быть, к дочери в Москву уехал. Что ж придется заночевать в стоге сена, а то замерзнем.

Мы вернулись к тому месту, где стояли стога, выбрали один из них и вырыли в нем большую нору для двух тел. Постелили один плащ и накрылись другим. Прикрыли нору изнутри сеном, накрылись с головой и, не успев протрезветь, уснули. Вскоре я проснулся от того, что с головой под плащом было невозможно дышать. Я откинул плащ, но лучше бы я этого не делал: на лицо тотчас просыпалось колючее сено, которое забило все отверстия. Стали болеть глаза, щекотало в носу и першило в горле. Невыносимо!

Я выбрался из нашего логова, как сумел, прочистил все дыры своего лица и напоследок, на всякий случай, еще и помочился, хотя *там* никакой закупорки вроде не было. Я еще не закончил испускать из себя струю, как услышал идущий из стога, тяжелый продолжительный стон.

- Анатолий, ты что? – испугался я.
- Куда ты, сука, слинял? Холодно же.
- А чего ты орешь?

– Так я же говорю, без тебя стало зябко, мне и привиделось, что у меня из-под бока сбежала жена, моя Томочка. Ах, какая она теплая и уютная. А мы тут, как идиоты, залезли в стог. Ну, давай обратно.

– Ну уж нет. Томочку я тебе все равно не смогу заменить, а дышать я предпочитаю не сеном, а воздухом. Все равно скоро светает. Пойдем на час раньше, чем планировали.

- Он нехотя согласился. Лес начинался в десяти минутах ходьбы, и мы углубились в него.
- Постой, – сказал я, – здесь должен быть наш первый гриб.
- Да! Отсюда я всегда начинаю. Откуда ты знаешь?

Он требовательно смотрел на меня, ожидая ответа.

– Вот он наш беленький, – ласково бормотал я, выкручивая из почвы крепкую ногу и любуясь одновременно бархатистой головкой благородно-коричневого цвета.

– Ты нашел мое место, – сердито сказал Анатолий, – но ты ошибаешься: то, что ты держишь в руках, – не боровик; смотри, у него синее ножка, это дубовик. Должен тебя предупредить: хоть это и съедобный гриб и даже вполне вкусный, – он несовместим с алкоголем, и воду, в которой он варился следует сливать. Недаром немцы называют его Нехенpilz – «ведьмин гриб». А ты употребляешь грибы помимо водки?

– Нет! – ответил я слегка пристыженный и сразу же убедившийся в правоте опытного грибника, – но вот эти два – ведь точно белые!

Я наклонился и каждой рукой одновременно схватился за ножки рядом стоящих болюсов.

Мой напарник прямо захлебнулся смехом.

– Да... да... – быстро-быстро забормотал он, не переставая смеяться, – скорей клади их в свою корзину, а то ведь пока не положил, могу и отобрать один. А то и оба отберу: место мое!

Я наверняка знал, под каким деревом меня ждут грибы: я собственно и не искал их, а вспоминал, что мне показывали накануне. Из мхов я вытаскивал красноголовые подосиновики на 15-20-сантиметровых, иногда кривых, ногах. Хороши были скользкие пламенеющие маслята, целыми семействами размещавшиеся под елками.

Анатолий брал и другие грибы, которые я не умел идентифицировать.

– Это рядовки – приговаривал он, – а это гигрофор благоуханный, а это мокруха пурпурная. Вот это я хотел: чесночный гриб; он маленький и ломкий, но его много и не нужно, он сообщает свой вкус целой сковородке, возни же с ним никакой, его и мыть-то не нужно.

Наши корзины вскоре наполнились приятной, оттягивающей руку тяжестью. Мы вышли на поляну, которая сразу привлекла нас неотразимой прелестью и сманила на привал и завтрак. Только теперь по-настоящему рассвело и туман полностью рассеялся. Посреди поляны лежало свалившееся дерево, на нем можно было со всеми удобствами расположиться и накрыть стол. Что и было сделано. Я достал из рюкзака яйцо и, поглядывая на Анатолия, стал лупить его с тупого конца.

– Разбивать скорлупу следует с другого конца, – научил меня приятель, – наша семья принадлежит к партии остроголовиков. Прошу это учесть без всяких дискуссий.

Насытив первый голод и хлебнув горячего кофе из термоса, он достал большой перочинный нож и приступил к обработке приглянувшегося ему сучка, торчащего из ствола дерева, на котором мы сидели. Я думал, что он вырезает статуя гриба: было похоже на шляпку, но он в последний момент надрезал головку прямо посередине и, захихикав, объявил:

– Эту скульптуру я назову, – и он торжественно вытянул вперед руку, – ХЕР ПОПОВА! В честь чего сейчас и облуплю об него яйцо. Все участники ритуала приблизьтесь (это ко мне)!

Я встал со своего места и подошел вплотную к ритуальному объекту.

Анатолий достал из мешка яйцо и острым концом нацелил его на артефакт. Результат столкновения двух объектов оказался для всех неожиданным. Мы даже непроизвольно охнули. По случайности приятель уложил в мешок одно несваренное яйцо, и хер Попова красовался теперь залитый желтком, подобно облитому кровью ритуальному идолу, предназначенному для дефлорации юных дев.

– Так даже лучше, – удовлетворенно сказал создатель скульптуры, мы провели обряд освящения (или посвящения, – как правильно?). Скульптуру даже не нужно ошкуривать, не пройдет и двух месяцев, и она будет лосниться от захватанности руками и ручками, да, да, ручками, Попов, – вот увидишь!

– Анатолий, – крадчиво спросил я, – ты это заранее придумал?

– Что именно?

– Ну, вот это... сырое яйцо?

– Клянусь! – забожился Анатолий (а я все же не верил). – Я бы сейчас съел одно, да больше нету. Вот клянусь!

– Я тебя угощу, – сказал я, – я наварил яиц на четверых.

Он с удовольствием принял яйцо и тотчас облупил его, согласно своим принципам, разбив скорлупу об собственное изделие, которому пророчил большое будущее.

Подкрепившись, мы решили продолжить сбор грибов и пошли по манившей нас тропке. Было много мухоморов, а я слышал, что они не вполне несъедобны, то есть они скорее галлюциногенны, чем ядовиты. Я спросил об этом у более опытного Анатолия, и тот ответил, что, во-первых, видов мухомора множество и некоторые из них не просто съедобны, но деликатесны, взять хоть мухомор Цезаря; во-вторых, зная, как приготовить, можно употребить практически любой гриб, за исключением особенно горьких на вкус, каковы, например, ложные белые. В-третьих, мне следовало бы знать, что для своей самой последней трапезы Будда выбрал именно мухомор, да-да вот этот самый, всем известный, с красной головкой в белую крапинку. Наконец, в Сибири знатоки (с особой целью) едят мухоморы с тем условием, чтобы едоков было не меньше трех. Это не по аналогии распития на троих, просто через какое-то время едоки начинают чувствовать, что они возносятся, а эта стадия требует жесткого контроля напарников, оптимальное количество которых должно равняться трем: двое друг с другом не справляются.

Я слушал с интересом, не забывая при этом класть в корзину попадавшиеся мне знакомые грибы. Вдруг мы оба разом остановились.

– Раньше здесь этого не было, – озадачился Анатолий.

Мне же оставалось лишь вспомнить, что этот пруд мне уже являлся прошлой ночью, но только давеча я, ощутив какую-то загадочность водоема, но не запомнив, в чем именно состояла необычность, теперь мог разглядеть все в подробностях. Пруд, заросший ряской, был как бы поделен невидимой чертой пополам. В одной половине неподвижно расположился белый лебедь, в другой – на одном месте в зеркальной позе стоял черный. Несколько минут мы молчали, ожидая, когда лебеди начнут двигаться, но они продолжали пребывать в неподвижности. Это почему-то разозлило меня, я поднял с земли палку и бросил ее в сторону черного лебедя. Лебедь и не подумал уворачиваться, палка попала в него, и мы услышали звук дерева, ударяющего по дереву. Птица была мастерски вырезана из дерева и раскрашена в черный цвет. Но зато белый лебедь встрепенулся и забеспокоился, захлопал крыльями и закричал неприятным тревожным голосом.

Одновременно послышались звуки музыки, я узнал ее: пел тенор

Mein lieber Schwan! —

Ach, Diese letzte, traur'ge Fahrt...

И дальше:

Leb wohl! Leb wohl! Leb wohl, mein süßes Weib!

Мы пошли на звуки музыки. По дороге нам встретился старик, тот самый к которому мы стучались ночью. Он только что вернулся из Москвы и шел через лес домой от дальней станции, до которой поезда ходят чаще.

– Что это за пруд? – спросил Анатолий.

– Да это тут поселился недавно один – то ли немец, то ли еврей. Фамилия какая-то странная: Шванентайх, кажется. Здесь его зовут попросту: «Швайн». Сидел, видать, долго, ни с кем

не общается. Вот он и устроил этот пруд. Все по науке, говорят, по каким-то чертежам. Лебедя приманил, вон того, белого. Летать не может – увечный. Второго, черного, сам смастерил. И герб себе на избу придумал – тоже с двумя лебедями. Да вы подойдите ближе, разглядите, вон изба-то рядом.

К избе действительно был прикреплен самодельный герб из раскрашенного дерева. Я не умею блазонировать, но два лебедя – белый и черный – были вписаны в герб, что бы это ни означало.

Музыка стала слышнее, и мы поняли, что играет еще довоенная пластинка с записью Лознгринга: классический напряженный вагнеровский тенор. Сильные потрескивания и шипенье – возможно, что и патефон, на котором проигрывалась старая пластинка, был довоенным.

Захотелось посмотреть на хозяина, но стало неловко беспокоить его, и мы покинули этот искусственно-романтический, деланный какой-то уголок.

Мы, должно быть, слегка заблудились, ходили кругами, несколько раз подходили к пруду, где все в той же позиции красовались лебеди, много раз возвращались на поляну, где из поваленного дерева торчала заляпанная уже засохшим желтком поделка резчика. У меня в голове назойливо прокручивалась музыкальная фраза, от которой я никак не мог отвязаться:

Leb wohl! Leb wohl! Leb wohl, mein süßes Weib!

Я подумал: «А что, если это и впрямь окончательное прощание? Прощай, прощай, женушка!»

Выйдя очередной раз к месту нашего привала, уже перестав складывать грибы в корзину за отсутствием места, мы решили, что теперь можно и пообедать и водочки глотнуть. Устроились на том же дереве, раздавили пузырь, развеселились, побалагурили и тронулись в обратный путь – надо было успеть на последний проходящий состав: поезд здесь ходил челноком по тем же рельсам в обе стороны.

На этот раз к паровозу был прицеплен всего один вагон, и он был переполнен. Мы с еще несколькими подошедшими к составу грибниками брали вагон штурмом. В тамбуре было полно народу, но Анатолию удалось пробраться внутрь, я же ухватился руками за поручни, и было ощущение, что вся толпа из тамбура, а также забравшиеся на ступени, оперлись об меня, повиснув всей своей (и грибной) тяжестью на моей особе, имевшей за плечами еще и увесистый рюкзак. Я прикинул, сколько времени я смогу удержать на себе всю эту ношу и спокойно сообщил Анатолию, что продержусь еще секунд семьдесят (думаю, преувеличил собственные силы).

В этот момент поезд остановился, и машинист, испугавшийся возможной ответственности за мою гибель, замахал мне из кабины рукой: давай, мол, ко мне, сюда, и мы с приятелем юрко взобрались в паровоз и с комфортом (сидя!) добрались до самой Москвы.

Мы распрощались на вокзале, договорившись о новых походах, но впереди еще была бессонная ночь, потраченная на спасение грибов: их надо было срочно почистить и обработать, а по возможности и приготовить, чтобы они не пропали.

Смута покинула меня.

Я беспечально встречался с Ниной – до тех пор, пока она не сказала мне, что со мной было хорошо, что она благодарна мне за все, что она будет помнить проведенные со мною дни и еще не раз насладится той моей частицей, которую можно созерцать на сказочной поляне в лесу близ станции Ч., но что наша совместная жизнь все же исчерпана, а у нее новые планы и т.д., и т.п.

Я молча откланялся. Но слова ее задела меня не на шутку. Как? Она побывала на нашей поляне? Она видела хер Попова и знает, что это такое? У всего этого мог быть только один зачинщик!

Я набрал номер Анатолия. Ответил женский голос, который с запинкой объявил мне, что тот больше здесь не живет. Я поинтересовался, говорю ли я с Томочкой и что произошло? Она ответила, что это не телефонный разговор и предложила, если я хочу, зайти поговорить. Я купил бутылку водки и в тот же вечер отправился разузнать, что к чему.

Томочка рассказала, что застала Анатолия у них в спальне с дамой и что вместо покаяния он заявил, будто давно хотел объясниться, чтобы прервать старый брак для вступления в новый.

– Ты знаешь, кто эта дама?

– Нет, я видела ее впервые, но зато сразу без одежды, – с юмором ответила Томочка, та самая, о которой говорилось, что она теплая и уютная. – Впрочем, единственное, что мне известно, – ее зовут Нина. Я слышала, как он называл ее Нинон.

– Господи, – вырвалось у меня.

– Ты ее знаешь?

– Совсем немного. Ладно, Томочка, – сказал я, – не умею я утешать, да меня и самого недавно бросила жена. Давай-ка лучше выпьем, а?

Она сразу согласилась и, ставя на стол маринованные грибочки для закуси, улыбнулась:

– Это те, что вы в последний раз вместе собирали. Я их готовлю по рецепту моей бабушки.

Что я могу сказать? Томочка действительно оказалась теплая и уютная. Через несколько месяцев я уже называл ее своей законной женой.

От старых воспоминаний и от самой былой жизни Томочка хотела куда-нибудь уехать. Представилась возможность эмигрировать в Германию, и мы решились на крутой перелом наших судеб.

Ушло немало лет, прежде чем мы сумели войти в какую-то рутинную колею, когда быт налажен, будущее не пугает, хотя прошлое время от времени все же покалывает. Один из августов мы решили провести в Шпессарте – в том месте, которое славилось своими грибными местами.

Действительно грибов было несметное количество. Немцы их не собирают, предпочитая купить, пусть и задорого, но уж точно проверенные, с надписью: «Steinpilze «или «Pfifferlinge». Грибник в лесу – непременно русский или поляк.

Однажды мы с Томочкой, увлеченные рыжиками, которые в Подмосковье больше не водятся, а здесь их никто не берет, набрали на пруд, вызвавший во мне смутные воспоминания. И впрямь: водоем был словно бы разделен на две части, одну из которых занимал белый лебедь, а другую – черный. Правда, обе птицы были живые, а не деревянные, но двигались они, только если одного из них чем-нибудь побеспокоить. Недалеко от пруда был уединенный дом над дверью которого было написано готическими буквами *Freiherr von Swanenteich*, а также прикреплен профессионально выполненный герб, на котором были изображены два лебедя с переплетающимися шеями.

Я не стал дожидаться, когда грянет из окон Рихард Вагнер, и увлек Томочку по уходящей вверх тропинке. Музыка все-таки нас настигла, и на этот раз это была «Валькирия». Но мы не остановились – я указал жене на большое скопление маронов, как здесь называют польские грибы, и она устремилась за ними.

Придя домой, я поручил обработку грибов женщине, а сам открыл компьютер. Впервые за все это время мне написал Анатолий. Он спрашивал, уродились ли у нас нынче грибы, и описывал свою недавнюю поездку на наше место. Он сообщал, что хер Попова до сих пор стоит и – «поверишь ли? – прямо-таки лоснится, как я и предсказывал, от захватанности грубыми руками и нежными ручонками, как сиська Джульетты в Вероне, честное слово!». Он извещал

меня также, что расстался с Ниной, а моя бывшая жена, которую он на днях встретил на улице, такая же красивая, как и прежде, ну просто красавица. Просил передать привет Томочке.

Я тотчас ответил ему, что страшно рад тому, что хер Попова живет своей отдельной от меня жизнью и что меня самого здесь называют: «Хер Пóпов» – с ударением на первом слог.

Как разгадать все эти сплетения и даже, можно сказать: нагромождения, я, честно говоря, не знаю. Впрочем, знаю, кажется: грибы!

Старик с розами

Много лет я приятельствовал с совершенно очаровательным человеком, О., известным театроведом, знатоком русской культуры, эрудитом, чье суждение было в высшей степени влиятельным для всякого художника, в какой бы области искусства тот ни работал. Он как будто не замечал весомости своих мнений и высказывался всегда исключительно мягко и скромно, почти застенчиво. Даже если он рассказывал о чем-то из истории, чего никто, кроме него, и знать-то не мог, он словно бы ждал возражений и смотрел на аудиторию с неподражаемо вопросительным выражением, избегая при этом распространенного словечка: «да?» Никогда и никто не осмелился бы предложить ему что-либо возглавить: ясно было, что откажется, хотя стоило ему захотеть, и за ним пошел бы кто угодно, так авторитетны были его имя и слава человека безупречно честного и беспредельно осведомленного.

С ним хорошо было разговаривать. Он с самого начала угадывал, к чему клонится беседа, и отвечал сразу же на все вопросы, которые ему можно было бы поставить, так что голоса диалога могли чувствовать себя совершенно равноправными участниками, внесшими свою лепту в разработку заданной темы. Настрой собеседника также не оставался для него тайной, и деликатность его реплик всегда была безукоризненной. Иронию, которая ему была в высшей степени присуща, он, как и многое другое, прятал в усы-щеточку. Но и ничего не могло быть приятней, чем когда усы его топорщились в дружелюбнейшей улыбке.

Если ты притязал на конфиденциальный разговор с ним, он охотно тебя выслушивал и одаривал тебя консультацией, коли ты об этом просил: по собственной инициативе советов не давал. Дозволялся любой градус откровенности, и можно было быть уверенным в том, что ни одна сплетня не укажет на него как на свой источник. Сам он при этом ни с кем не секретничал, и даже немислимо было представить себе, чтобы он с кем-либо заговорил на личные темы.

Не только я, но вообще никто ничего о его частной жизни не знал. Говорили, что у него некогда была жена, но никто о ней ничего не помнил и подробностей его вдовства не ведал. Неизвестно было даже, подлинно ли он вдов.

Он всегда был не просто ухожен, но одет с иголки, костюм выглажен и галстук тщательно подобран. Можно было предположить, что за всем этим скрывается женская забота, но все почему-то в этом сомневались. Глаза его молодо горели не только, когда он говорил на увлекающие его темы, но и когда он глядел вслед прекрасной даме, какого бы возраста та ни была – от четырнадцати до девяноста восьми (старше просто не было в кругу наших знакомых, а среди детей я его не видел).

Я догадывался, что он ведет дневник, но никогда не мечтал даже, что мне удастся хотя бы краешком глаза заглянуть в него. А между тем – вот он, его дневник, у меня в руках. Специальным пунктом в его завещании было пожелание, чтобы все его записи были переданы в мое распоряжение вместе с правом на использование дневника по моему усмотрению, но лишь по прошествии десяти лет со дня его смерти.

Десять лет прошло, а я все еще не решил, что делать с его дневником. Кажется, что записи, а его дневник – это именно записи с обозначением чисел, дней недели, а иногда даже и времени суток, – представляют собой нечто цельное, написанное словно бы единым махом и согласно обдуманному замыслу. Рука не поднимается разрознить листы, превратить их в фрагменты, а между тем ясно, что при нелюбви автора к публичности и совершенно явной его стыдливости, он ни при каких обстоятельствах не одобрил бы публикацию небывало откровенных заметок, затрагивающих не только его частную историю, но и подробности жизни других персонажей, названных своими (почти всегда известными) именами.

Объяснюсь более толково. То, что я сейчас предлагаю вниманию читателей, не является ни в малой мере публикацией дневника или его отрывков. Здесь даже не будет, за редким

исключением, прямой речи, в смысле подлинного текста черновика. Я просто выделил из рукописи один небольшой сюжет, который меня тронул необычайно, – ну да, сюжет для небольшого рассказа, который я изложил своими словами. И хотя выразительные средства, имеющиеся в моем обиходе, несравненно беднее тех, что можно найти в подлиннике, я попробовал оторваться от него, будто я не пересказываю прочитанное, а воспроизвожу нечто, чему был свидетелем, или же попросту измыслил. Я и говорить иногда буду как бы от первого лица, хотя эти куски – вовсе не цитаты. Пусть читателя не сбивает с толку, что мой герой подчас выступает под разными местоимениями, то есть первое и третье лицо в тексте повествуют об одном и том же персонаже. Ну, а я (да, в каком-то смысле и плагиатор!) исчезаю.

В 19... году О. решил прокатиться на речном корабле по Волге с заездом в и остановкой на несколько дней в больших и малых городах – по собственному выбору. Продолжительность остановки определялась на месте: в, казалось бы, небольшом и ничем не примечательном поселении он мог задержаться на целую неделю, а знаменитые географические пункты не вызывали в нем подчас ни малейшего интереса.

Впрочем, в Саратове О. планировал остановиться дней на пять: он хотел познакомиться с местным драмтеатром имени И. А. Слонова, посетив по возможности три-четыре спектакля. Некоторое разочарование постигло его, когда выяснилось, что театр Слонова уехал куда-то на гастроли, а в его помещении гастролирует Эльский театр драмы. Что ж, решил О., когда еще придется побывать в Эльске, тем более, по слухам, там была блистательная молодая актриса родом, кажется, из Одессы. Фамилии ее он не помнил, но надеялся, что, увидев афишу, поймет, о ком ему рассказывали. Да и не в этом же дело: не та актриса, так другая. Или актер. Репертуар разнообразнейший – от фарса до трагедии.

Первой по календарю выходила «Женитьба» Гоголя. О. пошел.

Постановка сильно насмешила О. Она была выдержана в капутническом духе и как если бы режиссерский план был составлен и опубликован Ильфом и Петровым в книге «Двенадцать стульев». Это была такая доморошенная и уже не актуальная ни в какой мере мейерхольдовщина. Однако же Агафья Тихоновна была воистину ослепительна (заглянув в программку, О. тотчас вспомнил, что именно это имя – П. – ему и называли). Ах, как произнесла она эту знаменитую и затасканную реплику: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича – я бы тогда тотчас же решилась. А теперь – поди подумай!». Как чувственно, почти плотоядно называла она части тел своих женихов, будто ручкой своей ощупывала то, что упоминала! Как подрагивала в нетерпении и разнузданности воображения! Замуж! Сей же час! И вначале блеск в глазах, а потом и померкший взгляд – все было подлинным, эротическим, отчаянным, тоскливым, безнадежным!

Мне непременно нужно было видеть П. и в других ролях, я почти уверен был, что она может *всё*, что трагедия ей подвластна в той же мере, что и водевиль. На другой день давали «Грозу», и я уже прочел в афише, что Катерину должна была исполнять П. Купив самый большой букет, какой можно было найти на Саратовском рынке, я отправился на спектакль.

Все в спектакле раздражало: утрированное мракобесие Кабанихи, дебильное слабование и инфантильность Тихона, кликушество полоумной барыни, комикование Варвары и Кудряша, невыразительность Бориса, да и все прочтение пьесы, опирающееся на школьную трактовку, восходящую к добролюбовской. Но – вот уж воистину по добролюбовскому слову – «Луч света»! Да что там луч, – сноп, это был сноп света! Она играла любовь, она жила любовью, и пропади пропадом все остальное! «Что меня жалеть – никто не виноват, – сама на то пошла. Не жалею, губи меня!» Я, честное слово, различил в темноте зала гусиную кожу на руках моих

соседей по креслу, когда П. произнесла эту реплику. И, обретя любовь, Катерина уже не может ни смиренничать, ни притворяться, да и существовать во лжи ей не по силам. С ужасом спрашивает она: «Опять жить?»

Это было сильно. Это была трагедия. И это сделала она, и только. Свита, обычно играющая короля, оказалась ни при чем. Она была королевой без свиты. Театр не ставил и не играл трагедию, трагедию сотворила П.

Зал рукоплескал. Я подошел и протянул свой букет. Она откуда-то знала меня – и узнала! Вытянув губы трубочкой, она беззвучно и как бы изумленно протянула:

– О-о-о!

И спросила тихонечко:

– Зайдете?

Я кивнул.

О., выждав, когда публика немного разойдется, а уборные покинут назойливые поклонники, прошел за кулисы. Она еще не полностью разгримировалась. Он склонился к ее руке. Она глядела на него без улыбки и в упор, глубоко, печально, серьезно.

– Я чувствовала, что кто-то мне мешает сегодня играть. Теперь понятно – это были вы...

– Но как...

– Конечно, вы... Впрочем, что тянуть резину. Через пять минут я буду готова. Беги, лови тачку!

Его словно смыло.

Как и обещала, она появилась у артистического выхода с его букетом в руках. Они поехали в его гостиницу и всю дорогу молчали, а он еще и беспокоился, что дежурная по этажу в отеле захочет воспрепятствовать позднему визиту особы женского пола. О. хотел было проскользнуть в номер незаметно, но добродушная администраторша, заметив его с гостьей, прикрыла глаза тыльной стороной ладони, как бы говоря:

– Не вижу, не вижу, никому не скажу!

Они вошли в комнату. Она оглядела все быстрым взглядом, нашла, куда пристроить цветы и сказала раскаленным голосом:

– Как эти покрывала мне постылы!

(Это уже освободившись от верхних одежд, а белья на ней не было.)

Я поддержал – оттуда же:

– Когда бы грек увидел наши игры!

И я припал – не к губам ее, нет, я впился в ее живот, который дрогнул под моим натиском и словно бы провалился на миг, чтобы опять возникнуть для меня в трепете и смятении, так, что я слышал ее взволнованное дыхание, и я целовал ее вдохи и выдохи и мне передалась ее дрожь, и я испытал доселе мне неведомое чувство – не сам грозный оргазм, но его томительное, почти мучительное, предвестие.

– Теперь здесь, – распорядилась она, показывая пальцем, где следовало целовать.

И я ревностно стал исполнять все ее указания. Это было состояние одержимости. Здесь не было ничего от жадности изголодавшегося по сексу пожилого мужчины, но и в молодости моей не был я столь ретив. Она была то податлива до самозабвения, то капризно-строптивая – и прекрасна, прекрасна!

Как в фигурном плавании, мы вышли на поверхность одновременно. Когда мыслительная способность вернулась ко мне, первое, что пришло в голову было:

– Что же это за словесная прелюдия у нас была? Ведь мы оба почему-то ссылались на исполнение «Федры», где зрелая пылкая женщина стремится к соединению с юношей-пасынком, противящимся ее страсти. У нас же разыгрывалась обращенная ситуация.

И я, старик, сохраняя мотив кровосмесительства, произнес:

Иди, никто тебя не тронет,
На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою преклонит
Кровосмесительница-дочь!

Она все понимала с полуслова. Она качала головой. Она протестовала. Она отвергла оба варианта.

– Давай так, – сказала она, —

Клянусь... – о мать наслаждений,
Тебе неслышанно служу,
На ложе страстных искушений
Простой наемницей всхожу.

– А, – понял О., – «Египетские ночи»! Пожалуй! Согласен!

И ему пришло в голову затеять с ней игру, проходя сцены из мирового классического репертуара: она представилась ему равной по эрудиции и приспособленной для такой игры.

– Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная! Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз. Я люблю, люблю, люблю... Люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся... Великолепная, чудная женщина! – продекламировал О.

Она тихо засмеялась и ответила:

– Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас... (Вполголоса.) А впрочем, говорите, мне все равно... (Закрывает лицо руками.) Мне все равно – и продолжила: А почему «Три сестры»?

– Ну, тогда так:

Я сегодня уеду, бывать здесь не буду, но... (Берет ее за руку, оглядывается.) Где мы будем видеться? Говорите скорее: где? Сюда могут войти, говорите скорее... (Страстно.) Какая чудная, роскошная... Один поцелуй... Мне поцеловать только ваши ароматные волосы...

Она (без промедления) Клянусь вам...

Он (мешая ей говорить). Зачем клясться? Не надо клясться. Не надо лишних слов... О, какая красивая! Какие руки! (Целует руки.)

Она. Вы забылись.

Он. Говорите же, говорите, где мы завтра увидимся? Ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться. (Целует ее.)

Она. У нас сегодня *все* пьесы Чехова?

Он. Только те, где «великолепная, чудная, роскошная женщина».

– Взглянул я сейчас на эту виолончель и... и жишовочку вспомнил... Мы с нею дуэты играли... Чудная, превосходная женщина!

Она. Значит *все*! Плюс еще множество рассказов с такими же репликами. Чехов думал, что с женщинами можно изъясняться только таким пошляческим образом.

О. Это не снимает вопроса.

П. Какого?

О. Увидимся ли завтра и где будем видеться?

П. Завтра еще увидимся, а потом я уеду в Эльск – к мужу.

Воздух, который О. вдохнул, попал по назначению – в дыхательное горло, но он успел затвердеть, и уже камнем упал на душу. Из гортани вышел наружу ни на что непохожий звук. Звук был замечен П., но она промолчала. О. же ничего членораздельного не произнес...

На следующий день П. в спектакле занята не была, и они договорились походить по Саратову. О. хорошо запомнил их маршрут: Театральная площадь, улица Радищева, Академический театр, Опера, консерватория, улица Мичурина, улица Чернышевского, Свято-Троицкий кафедральный собор. Вышли к Волге, поругали городские власти за загрязнение, посмотрели на другой берег, где расположился Энгельс Саратовской области. Ни о чем существенном не говорили, иногда произносили стихи – оба знали их в несметном количестве и оба отлично читали. П. узнавали на улицах: у саратовских театралов она заработала славу и признание. О. ловил на себе любопытствующие и завистливые взгляды.

Они не условились о вечерней встрече, попрощались у входа в ее гостиницу, адресами и телефонами не обменивались. И только целую О. напоследок, П. сказала утвердительно:

– Мы не потеряем друг друга.

– Ты... – начал было О., но так и не закончил.

На следующий день он сел на корабль и поехал вниз по матушке.

Следующий раз они встретились уже в Москве, до которой докатилась слава молодой актрисы и куда ее взяли в штат одного из новых театров. Она позвонила и позвала на премьеру. Кажется, это был Стриндберг, и она в главной роли мучающейся и мучащей женщины была так мучительно хороша.

Как и тогда в Саратове, О. принес ей цветы и, как тогда, она тихонько спросила:

«Зайдешь?»

Он зашел.

Она долго не поворачивалась к нему, глядя на него в зеркало. Он стоял, прислонившись к двери и бессильно уронив руки.

– Ты... – произнес он наконец, – и не стал продолжать.

Она предложила поехать на свою новую предоставленную ей театром квартиру.

– Там муж? – спросил он.

– Да, – подтвердила она, – я хотела бы вас познакомить, – и через паузу добавила, – мы с ним разводимся, но ему сейчас негде жить. Кстати, он хорошо готовит, и я думаю, припас на вечер что-нибудь вкусненькое.

Заметив, что О. колеблется, заглянула ему в глаза;

– Поедем, а?

Он. Ха-ха! Вы добродетельны?

Она. А?.. Что?.. Ага! ... Мой принц?

Он. Вы красивы?

Она. Что ваше высочество хочет сказать?

Он. То, что, если вы добродетельны и красивы, ваша добродетель не должна допускать собеседований с вашей красотой.

Она. Разве у красоты, мой принц, может быть лучшее общество, чем добродетель?

Он. Да, это правда; потому что власть красоты скорее преобразит добродетель из того, что она есть, в сводню, нежели сила добродетели превратит красоту в свое подобие; некогда это было парадоксом, но наш век это доказывает. Я вас любил когда-то.

Она. Да, мой принц, и я была вправе этому верить.

Он. Напрасно вы мне верили; потому что, сколько ни прививать добродетель к нашему старому стволу, он все-таки в нас будет сказываться; я не любил вас.

Она. Тем больше была я обманута...

– Мне уйти в монастырь?

– Нет! – закричал я, – сорок тысяч раз: нет!

И я обнял ее, наконец. И мы никуда не ехали, потому что мы обнимались.

Потом все-таки взяли такси и поехали. Нас встретил ее муж, и он был необыкновенно обаятелен, и он действительно приготовил великолепный ужин с различными деликатесами и хорошим вином.

После ужина он несколько раз порывался уйти, ссылаясь на обещание навестить друга, но я удерживал его, упрасывая отложить визит хотя бы до моего ухода. Он понял мою неловкость и согласился.

Мы проболтали втроем до глубокой ночи, и надо сознаться я давно с такою приятностью не проводил вечер. Говорили об Ибсене, и он рассказал, что, прочитав в отрочестве «Пер Гюнта», он каким-то образом предвосхитил для себя философию экзистенциализма, с которой познакомился через несколько лет, но как бы уже готовый к ее восприятию. Для меня это было свежо: я не предполагал, что может существовать такой переход от «Пер Гюнта» к «Постороннему», и я расспрашивал его, и мне нравились его мысли и способ их изложения. Он четко и красиво формулировал, и я заметил, как мастерски он владеет метафорой, что редкостно для художника (а он назвался художником; впрочем, он был из концептуалистов, у которых речь поставлена, во всяком случае, не хуже, чем рисовальные способности).

О. уехал к себе, не испытывая ни малейшего раздражения из-за того, что ожидаемое randevu прошло вовсе не так, как предполагалось. После они договорились встречаться у него, но иногда собирались, как в первый раз, у нее на квартире – втроем: общих тем обнаружилось предостаточно, а взаимная симпатия возрастала.

Чем теснее становилась связь О. и П., чем крепче была его дружба с ее мужем, тем более он задумывался над тем, что такое молодость, нужна ли она ему, о какой юности он тоскует? Как ни странно, он не озадачивался этим во время свиданий с П., но вспоминал о своей печали только, когда виделся с молодым художником. И не потому, что завидовал ему или опасался, будто юная мужская сила победит в единоборстве со стариком за право обладания знающей в любви толк женщиной.

Когда она приходила ко мне – всегда врывается, как если бы могучим штормом занесенная, – все вокруг меня менялось, все выворачивалось наизнанку. Там была юность, но не моя, она гнездилась в иных формах: я глядел на эти руки, шею, грудь, – все человеческое, но такое другое. Только что я тоже был человеком, но я словно бы переставал им быть: становился мужчиной *par excellence* – агрессивным, brutальным, экспансивным, ищущим немедленного удовлетворения и не задумывающимся о собственной уродливости и, в конечном счете, комичности. Женственность, наполнявшая мою комнату с ее приходом, спасала меня от старости и одновременно от ощущения собственной детскости, которое всегда просыпалось во мне, стоило женщине слегка отодвинуться. Мужчина, которого она магическими пассажами вызывала изнутри меня, свирепо расправлялся и со стариком, и с мальчиком.

Она ничего этого не видела и не задумывалась ни о дряхлости, ни об инфантильности: я был для нее мужчиной настоящего времени, таким же, каким, вероятно, был для нее прежде ее муж или до него еще кто-то, неважно, кто.

Стоило ей покинуть мой дом, как чувство умирания возвращалось ко мне, и я думал о ее муже, чья молодость вполне могла быть моей молодостью, его накаченные мышцы – моими, его упругая походка – моей, его амбициозные планы сравнивались с моими юными претензиями, и сколько усилий я должен был потратить, чтобы не превратиться в бабу, уговорить себя, что я, в конце концов, – мужчина, и таковым умру. Как это было унижительно, каким жалким я представлялся в собственных глазах! Я жаждал не ее молодости, а своей, моя же молодость повторялась и обреталась в других юношах. П. могла лишь спасать меня. И она спасала, отрезая меня от человечества, отсекая человечество от меня, – тем, что превращала меня в мужчину по преимуществу, когда существенным становился лишь раскол человечества на две половины.

(О. неплохо знал польский язык, и не исключено, что эти размышления были навеяны «Дневником» Витольда Гомбровича, но вероятно также, что это навязчивые идеи О., возникшие независимо от великого поляка, или записаны именно потому, что О. поразило сходство своего «брёда», как он говорил, с журналом Гомбровича).

Между тем, П. стали приглашать на съемки в кино. Это было новое для нее занятие, и она говорила, что кинороли никакого отношения к искусству игры в театре не имеют. Тем не менее, она была увлечена этим делом, приносила с собой со съемок какой-то реквизит, и, когда О. по сложившейся между ними традиции предлагал ей сымпровизировать какую-либо сцену из классической пьесы, она вдруг доставала из сумочки деталь похищенного на студии реквизита, в точности соответствующую выбранному О. отрывку.

Последнее вроде бы даже и не удивляло О. до тех пор, пока однажды доведенный до неистовства и оскорбленный собственными мыслями о молодости и почти принудительной маскулинности, О. решил разыграть сцену из любимого им фильма Бергмана «Вечер шутов». Эпизод из «лубочной» картины изображал корпулентного и сильного владельца цирка, который узнает об измене любовницы с тщедушным и никчемным актеришкой. Актер этот, элегантно одетый и в котелке, является на представление и садится в первом ряду. Обозленный циркач, глядя в очень светлые и чрезвычайно наглые глаза лицедея, хочет поквитаться с ним и ударом кнута сбивает с его головы котелок. Актер выходит на арену для того, чтобы поднять шляпу, и, не сводя невыразимо хамского взгляда с циркача, наклоняется за котелком. Зритель ждет нового удара кнутом, но вместо этого происходит вот что: артист бросает в глаза владельцу цирка песок и опилки, подобранные на арене, ослепляет его, и зрители до полного собственного унижения наблюдают, как субтильный и циничный человек избивает могучего добродушного циркача и всю глумится над ним.

Как разыграть эту сцену в паре с П., О. не представлял: обе роли были мужские (любовница наблюдает за происходящим из-за кулис). По обычаю, О. не оповещал партнершу о том, что именно он хочет сыграть. Однако, когда он с бешено вращающимися глазами выпрыгнул на середину комнаты, она вдруг расстегнула сумочку и, достав оттуда настоящую плетку, подала ему. Дрогнувшей рукой он принял плетку, но тотчас же вернул ее П., и она изо всех сил хлестнула его – так, что у него потемнело в глазах. На вопрос, откуда у нее этот реквизит, отвечала загадочно, что на съемках разыгрывалась сцена с плеткой.

Я ревел, как животное, я чувствовал, что у меня открылось внутреннее кровотечение, в сердце и кишках открылись дыры, и я слышал, как внутри у меня дробно шумит кровяная капель, голову пьяно клонило долу, а пол кружился перед глазами, как раскрученный зонт, я хотел бы умереть прямо сейчас, но почему-то знал, что этого не произойдет, что на этот раз она еще спасет меня, и она положила одну ладошку мне на лоб, другую на затылок, она приблизила свое лицо вплотную к моему, она провела языком по моим губам, словно влила в меня целебный настой, и мы повалились на диван, и грубая мужская сила вселилась в меня, и мне ничего не оставалось, как найти способ избавиться от нее. Вместе мы справились.

Не хочется подробно описывать конец этой истории. Печальнее ее не знаю ничего. Коротко – так: в полгода П. угасла от рака. Она страдала от жестоких болей. При ней бессменно находился муж. В гробу она лежала исхудавшая, но бесконечно юная. На похоронах я слышал, как какая-то девушка спрашивает: «Кто этот старик с розами?»

2015

Франкфурт

...и другие рассказы

Самое первое

Первым моим ложем была крышка от чемодана. Не могу с уверенностью сказать, что я это помню – впоследствии об этом неоднократно вспоминали родители, – но, когда я вижу старые (теперь таких не делают) с упругими вмятинами коричневые «вместительные» чемоданы, мне становится необыкновенно уютно. Я убежден, что именно в крышке от такого чемодана я и спал.

Первым моим словом было «бабай»: так я, показав на него пальцем, назвал почтенного старика-туркмена на улице города Байрам—Али, где я в марте 1943 года появился на свет в эвакуации. Следующим моим лингвистическим достижением стало слово «ишак», уж не знаю, произносил я его по-туркменски или по-русски.

Первым моим подарком маме было драгоценное кольцо. По маминым рассказам, она гуляла по Байрам-Али со мною на руках, когда я стал с силой вырваться, восклицая при этом что-то (это случилось еще до того, как я освоил слово «бабай»), я едва не упал и не опрокинул маму, принуждая ее, взглянуть, куда это я стремлюсь. На месте, куда указывала вся моя жестикуляция, маме что-то сверкнуло в глаза. Она подняла с земли перстень с драгоценным камнем. Во время войны такая находка цены не имела. Как только мама подняла перстень, я успокоился и даже не потребовал предъявить мне найденное. Я не собирался вступить во владение перстнем, из чего мама справедливо заключила, что я дарю колечко ей.

Первой моей душевной привязанностью была черепаха, имя которой нарек я сам. То ли я весь вид называл этим словом, то ли персонально это создание я так именовал, но черепаха была Аля.

Первым моим удивлением был верблюд. Потом в мою жизнь вошли еще и верблюжьи колючки. Животные непрестанно их жевали, а у меня их непрестанно вынимали из пяток, когда я учился ходить (топал, конечно, босиком).

Девочек в моей туркменской жизни не было – иначе я бы датировал свою первую влюбленность раньше, чем я это делаю сейчас. Стало быть, почти до двух своих годов чувства влюбленности я не испытал ни разу.

Смешное

Как только время позволило, семья стала передвигаться на родину – в Одессу. Родители отца погибли в газовой камере. Я их никогда не видел. Квартира была разграблена. Я, впрочем, ничего этого не знал.

Помню, что было холодно. Помню диван, на котором я сидел и отказывался принимать пищу в том количестве, какое считалось необходимым для моего роста. Однажды, чтобы отвлечь меня от моего упрямства, отец привел домой собаку, которая должна была вертеться, гоняясь за своим хвостом. Предполагалось, что я буду смеяться, а мне в это время успеют затолкнуть в рот что-нибудь полезное. Собака сама по себе крутиться не желала, и я смеялся скорее над папиными усилиями принудить ее к этому.

Должно быть, судя по тому, как я вырос, в меня все-таки что-то затолкали.

Пушкин и дюк

Одевая меня на прогулку, всегда спрашивали: «Куда пойдем?» – и я так же неизменно отвечал: «к Пуцику», что означало, конечно же, «к Пушкину». Во время прогулок мы наносили визит памятникам Пушкину и де Ришелье, или попросту «дюку».

У памятников я удивлялся тому, что у одного нет корпуса, а только голова, а другой в холода стоит совершенно босой. Когда я сумел эту свою мысль донести до бабушки и увидел, что она меня поняла, я пошел еще дальше и предложил, чтобы мы отдали дюку мои валенки. Бабушка поинтересовалась, как же я дойду до дома без обуви, и я протянул к ней руки, намекая на то, что до дому она может меня донести.

Никакой жертвенности я не видел в своем предложении, но бабушка с такой гордостью потом рассказывала о моем поступке, что я и сам стал гордиться своей готовностью поделиться валенками с герцогом. Я только не мог уразуметь смысла выражения, которое в Одессе слышалось на каждом шагу: «А иди ты к дюку» – мы и так к нему каждый день ходили.

Первая любовь, первая обида

Выше этажом (или этажом ниже?) жила девочка Ляля. Это первая девочка, которую я опознал в качестве ребенка, подобного мне, но не мальчика. Этот не-мальчик с бантом мне сразу же запал в душу, и я уверенно знал, что она – моя.

Однажды мне подарили две шоколадных конфеты в роскошных фантиках, и я сказал: «Это Ите (то есть мне, Вите), это Ляле». Я разложил конфеты одну в правую руку, другую – в левую и направился к двери. Мама пошла со мной. Мы постучались, и мама сказала, что мы на минутку, потому что Витенька хочет что-то сказать Ляле, и передала слово мне.

Я раскрыл кулачки и повторил только что найденное выражение: «Это Ите, это Ляле». Ляля мгновенно сообразила, что к чему, и тотчас развернула фантик. Пока я пытался сделать то же самое, она уже съела свою конфету, а когда я, наконец, сунул свою в рот, Ляля подошла ко мне и протянула ручонку к моему лицу. Я думал, она хочет поблагодарить меня, и замер, предвкушая блаженное прикосновение. Но вместо удовольствия я ощутил резкую боль: моя девочка где-то достала иголку, которой проколола мне щеку – насквозь! – до самой конфеты! Я не закричал, а только отошел к маме и тихо заплакал. Из рта капала кровь, подкрашенная шоколадом.

Я продолжал любить Лялю еще несколько недель – до встречи с другим не-мальчиком.

Первый театр

В Одессе мне удалось побывать в театре. Конечно же, детей до двух лет в театр, пусть даже и детский, не пускали, но у меня оказался блат: тетя Фаня, которая продавала в театре мороженое. Тетя Фаня провела нас с мамой в фойе, когда спектакль уже начался. Вначале она положила в вафли мороженое и дала мне его полизать (как я понимаю, бесплатно), а потом спросила, не хочет ли мальчик посмотреть сказку? – «я проведу».

Мама засомневалась, стоит ли, но мы уже шагнули в темноту, где светились только сцена, окрашенная сине-фиолетовым светофильтром. На сцене царствовало зло: там беспощадный Кощей отдавал приказы своим прислужникам в серых костюмах и с хвостами. Я понял, что не могу допустить распространение зла, что его следует остановить, и, страшно разгневанный, вырвался у мамы из рук, топнул ногой и грозно закричал.

Кощей непроизвольно посмотрел в зал, и я стал орать еще сильнее, пока не раздались крики: «Немедленно выведите ребенка из театра». Смущенная мама, наконец, отловила меня и быстренько выскользнула за дверь. Мы едва попрощались с тетей Фаней и отправились домой.

По дороге мама успокаивала меня тем, что все в сказке кончится хорошо, да уже и сейчас все хорошо, потому что Иван-царевич... Но в том-то и дело, что в этой ситуации, когда всю историю мне не читали, а показывали, я сам должен был противодействовать живому Кощей, а не дожидаться появления Ивана-царевича, выход которого в начале действия я пропустил, а потому не успел полюбить.

Следующий раз меня повели в театр нескоро – через три года, мне уже исполнилось пять, но зато это был «Маскарад» Лермонтова. О нем я тоже расскажу – в свой черед.

Переезд

В Одессе мы прожили недолго. Я даже не научился узнавать мадам Винокур, которая вошла в наши семейные предания во многом потому, что сразу же опознала во мне древнегреческого бога Аполлона, хотя, по мнению бабушки, тут не требовалось особой проницательности.

Родителей распределили на работу во Львов, папу – в университет, маму – в мединститут. Сборов я не помню, запомнил только, что мамины и папины руки были заняты при посадке в поезд, поэтому меня несла бабушка.

Добирались мы с пересадками, самая долгая пересадка была, кажется, в Киеве. Тут в комнате матери и ребенка на вокзале я встретил свою вторую после Ляли любовь.

Имени этого второго не-мальчика я не узнал, но на какое-то время мы сошлись для игры, потому что я заметил в темном углу крохотный детский стульчик, никем невостребованный, и стал делать вид, что это хорошая игрушка.

Девочка сразу приняла мои условия, и мы вместе возились со стулом – до тех пор, пока я не стал раздражать ее, а стул ей еще не надоел: она ведь могла играть со стулом и без меня! Впрочем, стул как игрушка занимал ее недолго, и я опять завладел своей находкой. Я обнаружил, что со стула снимается сиденье и тогда можно забраться внутрь стула и ходить вместе с ним. Увидев, что за игру я придумал, моя новая любовь заревела от обиды и наябедничала, что я сломал не принадлежащий мне стул.

Наши отношения никак не продолжились – объявили посадку на львовский поезд, и все бросились штурмовать вагоны. Родители схватили чемоданы, бабушка подхватила меня, и всех нас сдвинула и понесла толпа. Я был сердит на девочку, мне было тесно и неудобно, я думал, что виновата бабушка, и бил ее по голове. Когда я сейчас это вспоминаю, мне стыдно и больно. Бабушка терпела молча.

Встреча во Львове

Вот мы, наконец, добрались до Львова, вышли из вагона. На перроне нас ждали дедушка и мамин брат Боба. Я увидел их, кажется, впервые. Оба – участники войны, им разрешено было подыскать для семьи квартиру (свободных квартир было много), и они выбирали поближе к университету.

Какое-то время мы шли по шпалам. Услышав звук выстрела, я поднял палец, как бы прислушиваясь, и сказал: «Ляют (т.е. стреляют) – война закончилась!» Эту фразу я освоил еще в Одессе, когда к нам ворвались соседи с криком: «Слышите, слышите, стреляют – война закончилась! Это победа!» Вот эту-то усеченную фразу я и повторял сейчас.

Но стреляли не в воздух, а в нашу сторону, а еще вернее – в нас, «новых оккупантов». Во Львове еще долго постреливали, во всяком случае, когда отец возвращался из университета домой через парк в темное время суток, в него стреляли неоднократно – не прицельно, конечно, но так, на всякий случай.

Не хотите – не верьте, но я помню обед, которым накормили нас дедушка и дядя, когда мы добрались до дома. Это был божественный желто-прозрачный бульон из куриных потрошков с крупными золотистыми бобами. Я тогда же освоил два новых слова: «фацоли» и «пупчик» (то есть куриный желудочек). Потом я заказывал обед таким образом: «Супчик, пупчик и фацоли».

Квартира

Я много квартир сменил в своей жизни, но по-настоящему моей, моим семейным домом, была вот эта львовская квартира на улице Жовтневой. Именно она мне снится порой, и никакая другая.

По каким-то сведениям, до нас дошедшим, эта квартира в «бельэтаже» занималась хозяином всего дома, в котором мы поселились, и была в прежние времена, то есть до войны, самой неудобной и темной квартирой в целом здании. Все квартиры выше этажами шли по кругу: дом стоял буквой П, и два крыла буквы П соединялись длиннейшим балконом, нависавшим над двором с двумя акациями и многочисленными кустами сирени.

Наша же квартира, состояла из четырех комнат, вытянутых в одну линию – анфиладой. Время показало, что дедушка и дядя Боба сделали верный выбор: нашу квартиру нельзя было нарезать на части, разделить на множество коммунальных комнатушек, как это сделали Советы с остальными квартирами дома, «уплотняя» жильцов, слишком вольготно разместившихся на площади с двумя туалетами.

Впрочем, когда мы въехали в этот дом, квартира таки была разделена на две части, поскольку у нее было два входа – «черный» (со двора) и «парадный» (из подъезда, или «з браны», как говорили во Львове). Мы разместились в двух комнатах, имевших вход со двора. В этой части была кухня и уборная, но не было ванны. В другой части квартиры – две комнаты с ванной, но без кухни и сортира, – уже жили какие-то молодожены. Как объяснил дедушка, наши соседи живут здесь временно и скоро уедут, и тогда вся квартира станет нашей, то есть папа, мама, дедушка, бабушка, я и дядя Боба займем полностью всю жилплощадь.

Все комнаты имели двустворчатые широчайшие двери, распахнув которые, можно было превратить наше жилье в огромный зал (что и делалось, когда собирались на какой-нибудь праздник многочисленные гости). В одной из комнат, называвшейся у нас столовой, стоял колоссальный дубовый стол, который к приходу гостей при специальной подготовке немислимо широко раздвигался. Полы были покрыты узорным дубовым паркетом, равный которому я увидел потом лишь в дворцах Петербурга. Что же касается печных изразцов, изготовленных в австрийской империи, то ничего, даже отдаленно похожего на наши, мне увидеть не довелось.

Когда молодожены уехали и мы вошли в освободившиеся комнаты, мы увидели на стене гипсовую маску очень красивой породистой женщины. Почему-то нам стало известно (каким образом – не знаю), что это маска рано умершей жены хозяина дома, что пани звалась Ванда, и что душа квартиры заключена в этой маске. Маска захотела быть и нашим амулетом, и она всегда висела на том самом месте, где мы ее впервые увидели; при переездах семьи в другие квартиры и другие города маска бережно водружалась на видное место. Спасибо, пани Ванда, все хорошо!

Знакомство со Львовом

Название нашей улицы – Жовтнева – было сразу, как мы приехали, но на некоторых домах еще сохранились старые таблички, на которых по-польски было написано: «Сикстутска». Несколько домов стояли в руинах – «зруйновані».

Родители и бабушка, знакомясь с городом, брали меня с собой на прогулку, и я сразу же стал ориентироваться во Львове, запоминая дорогу к дому от памятника к памятнику, от церкви к костелу. В городе было много памятников (кажется, это были изображения польских королей и героев польской истории). Где они стояли, я сейчас припомнить не могу, – на моих глазах они постепенно исчезали: их демонтировали и, по слухам, передавали Польше – по ее требованию.

Смутно припоминаю, как вывозили Матку бозку Ченстохову, которая, если не ошибаюсь, располагалась на месте нынешнего фонтана, что на площади Мицкевича (очень надеюсь, что это место не переименовано в площадь Бандеры или кого там нынче чтят). Памятник же Мицкевичу меня очаровал тотчас, как я его увидел, и помню, что все горожане с тревогой ожидали, что и его демонтируют, как этого добивается польская сторона. Потом с радостью передавали друг другу: «Отстояли!»

Львов гордился своими парками – парком Костюшко (через него я потом стал ходить в школу) и Стрыйским парком, а также стариннейшим Лычаковским кладбищем, полным затейливых усыпальниц, эгегических надгробий, аллегорических скульптур и могучих деревьев. Сюда приходили не только с меланхолией и печалью, но и в романтическом настроении или даже на свидание.

А еще был легендарный Высокий Замок и загадочная старая крепость, называемая «Цитаделя». В эти места не всегда можно было попасть, и жители опасливо строили предположения, что там располагаются секретные объекты.

Первая елка

Новый Год, который наступил для меня как праздник, пришел в 1946. Мне было без трех месяцев три, и я уже все понимал и замечал все приготовления. Мама принесла большую пушистую елку. Откуда-то достали огромные разноцветные шары и картонные цветные игрушки. Что-то разрешили навешивать мне. Потом мама решила, что украшений еще недостаточно, и с моей помощью стала раскрашивать золотом и серебром грецкие орехи, к которым прикрепляла проволочные петли, чтобы их тоже можно было повесить на елку.

Мне нравилась и процедура наряжения елки и – главным образом – предпраздничная атмосфера, хотя я еще не догадывался о том, что незаметно для меня в дом проберется Дед Мороз и зароеет в вату, изображающую под деревом снег, – подарки. Меня спросили, что бы такое я хотел повесить на елку – самое-самое красивое и хорошее. Не медля ни секунды, я ответил так, будто давно обдумал этот вопрос:

– Мамину сися!

Дело в том, что меня лишь недавно отлучили от груди, и это для меня катастрофой не было; мое высказывание имело лишь эстетический смысл. Но эта эстетика сохраняется во мне до сих пор, потому что ничего прекраснее женской груди мне увидеть в жизни не удалось. Как хорошо, что я понял это на самой заре своей жизни! Тогда мне объяснили, что мамина сися неотделима от мамы, ведь правда? Но с тех пор любой Новый Год для меня имеет все же эротические обертоны.

Что же касается Деда Мороза, то я, не заметив, как он проник в дом, пытался подстеречь его в 1947 году, а в 1948, когда я достал из-под елки не только подарки для себя, но и самый главный подарок для мамы, мне уже больше не рассказывали про тайные визиты Деда Мороза.

РЫНОК

Еда добывалась главным образом на рынке. О холодильниках никто и не слыхивал, запасы хранить было негде, поэтому на рынок ходили часто. Приносили оттуда завернутый в марлицу пахнувший кисловатой свежестью творог, густую сметану в банке, накрытой пергаментной бумагой или той же марлицей, кусочек только что взбитого бледножелтого сливочного масла в бумаге, которая в местах соприкосновения с маслом становилась прозрачной, парное молоко в бидоне, курицу со скрюченными лапками.

Летом возвращение мамы с рынка было особенно праздничным: она приносила обожаемый мною молодой картофель – и черешни. Черешни были огромные, и мама специально подбирала на сросшихся черенках, чтобы я мог нацепить их на уши – помню прохладное упругое прикосновение их прекрасного тела к моему.

Пользовались тремя рынками – Галицким, Краковским и Привокзальным. Самым далеким, но и самым привлекательным был Краковский. Там же располагалась и «барахолка» (не знаю, было ли это ее местное прозвище или моя семья так называла нечто знакомое по одесскому быту).

В первые послевоенные годы на львовской барахолке можно было за бесценок приобрести совершенно несусветные ценности, поднимая их прямо с земли, – вплоть до рыцарских доспехов. Так и делали знатоки-коллекционеры, которые из разных концов Советского Союза снаряжали целые экспедиции во Львов. Но для этого нужны были, хоть и небольшие, но деньги, а их-то у нас и не было.

Перстень с барахолки (новелла)

Родители отворачивались от лежащих в пыли сокровищ, только дедушка не мог отвести взгляд и иногда соблазнялся какой-нибудь акварелькой или небольшим гобеленчиком, а один раз подарил маме сказочный бриллиантовый перстень вместе с легендой о том, что тот принадлежал когда-то кому-то из Пилсудских.

В нашем доме этот перстень тоже оброс историями: он непрерывно исчезал и так же таинственно возвращался, когда с ним уже распростились.

Мама передарила перстень моей сестре, когда та стала взрослой, однажды перстень пропал, но появился через год: опять была зима, сестра достала перчатки – и, натягивая их на руки, просунула палец и в кольцо, которое было стянуто с пальца вместе с перчаткой год назад.

В другой раз, семья уезжала в отпуск, и папа почему-то решил припрятать ценности; он завернул перстень в тряпицу, всем показал и предупредил, что кладет в определенное место, которое просит запомнить, потому что на свою память не рассчитывает. Никто его не слушал. Сестра долго не вспоминала про перстень, а когда захотела его надеть, выяснилось, что никто не знает, где он. Квартиру обыскали несколько раз – безуспешно. Потом папа вспомнил, что на письменном столе у него лежала какая-то тряпочка, которая его раздражала, и он ее рассеянно смахнул со стола. Должно быть, перстень во время уборки подмели с пола вместе с тряпичкой и выбросили на помойку. Жалко, конечно, но такие потери в семье не очень оплакивались, хотя и не забывались.

Прошло несколько лет. Мы с женой в отсутствие родителей затеяли ремонт в их квартире (уже московской), и жена, оглядывая комнату, подготовленную к ремонту, без мебели, с голыми стенами, вдруг сказала:

– Кажется, я нашла перстень! (Она его никогда не видела).

Она уверенно подошла к стене, где висело одно-единственное кашпо, предназначенное на выброс, сняла его со стены и встряхнула – внутри что-то перекатывалось. Кашпо опрокинули, из него вылетела пыльная тряпица, в тряпице лежал перстень, насмешливо прыснувший нам в глаза разноцветными лучиками. Перстень и по сию пору у сестры, а, может быть, и нет: она давно не пыталась его надеть, да и помнит ли, куда положила?

Рынок (продолжение)

Когда я уже мог преодолевать дальние расстояния не на ручках у родителей, а своими ногами, меня стали брать на рынок, и я полюбил эти походы, хотя на базар отправлялись очень рано – в пять утра.

Мне нравилось смотреть, как мама или бабушка выбирают продукты, как они торгуются, что говорят, чтобы сбить цену, что им отвечают, чтобы цена не упала.

Я интересовался, почему бабушка, взяв в руки неошипанную курицу, дует на перышки, а потом решительно возвращает или, наоборот, тотчас расплачивается.

– Смотрю, или она не синяя, – объясняла бабушка, но мне это ничего не говорило, еще и потому что я ни разу не заметил даже признака голубизны в отвергнутых экземплярах.

Меня удивлял привычный инстинктивный жест, когда продавец сметаны предлагал попробовать его товар: подставлялся кулачок, и сметану из ложки накладывали между большим и указательным пальцем на тыльную сторону ладони, а уже оттуда слизывали. Торговец (чаще торговка) при этом говорили, если я при этом присутствовал:

– Нехай дитина покоштуе.

И я уже знал, что надо протянуть кулачок, потому что для дитини не пожалеют, а як дитина скаже, так воно й буде. И я, конечно, выбирал не столько сметану, в нюансах вкуса которой не слишком разбирался, а тетку, которая старалась мне понравиться.

Покупались на рынке и деликатесы, к которым семья пристрастилась в своей одесской жизни, а я узнал и полюбил на всю жизнь во Львове: это были раки и пшёнка (как на юге называли кукурузу, а мама никогда другого наименования не признавала – и справедливо, потому что тот сахарный маис, который я ем сейчас, – это совсем другой продукт, а пшёнка мне уже давно не попадается: пшёнку ведь надо варить часа два, а не десять минут, и очень круто солить крупной солью).

Танючка

Однажды у нас появилась своя молочница. Как это произошло, точно никто вспомнить не мог – просто возникла, постучалась в дверь черного входа, со двора, и всегда стучалась только в эту дверь. В первый раз она просто предложила свои продукты, и мы их охотно купили, а она в тот же раз почему-то решила, что мы теперь принадлежим друг другу, что она – наша, а мы – ее.

– Мене звать Танючка, – только и сказала она.

Возраст ее был неопределим, лицо очень морщинистое, зубов немного, подбородок востренький и прекрасные золотисто-голубые глаза.

В следующий раз она опять пришла неожиданно – в пять утра. Когда ей открыли черный вход, через который ни один из посетителей нашего дома не ходил, она сказала:

– Ой, та я до вас вже пукалам, пукалам (стучалась, стучалась), – ніхто не відкривав.

Оказывается, она приходила еще раньше – в четыре, но громко стучать в дверь не решилась.

Танючка располагалась на кухне, скидывала свои мешки с товарами на продажу, пила чай – всегда «з маргарыною» и со своими цукерками (дешевыми детскими леденцами – монпансье). «Маргарыну» она покупала в магазине на вырученные от продажи масла деньги, отказываясь от предлагаемых угощений, в том числе и от принесенного нам масла, потому что чай полезно было пить именно с «дешевой маргарыною». В комнаты никогда не входила, как ее ни зывали, но на кухне чувствовала себя по-свойски, не стеснялась и вела с бабушкой степенные разговоры. Часто рассказывала про свою корову (которая и нам теперь была не чужой). Имени коровы я, к сожалению, вспомнить не могу. Помню только, что с приходом Танючки наша кухня напитывалась чудными запахами – молока, травы, навоза, не знаю, чего еще, – а после ее ухода родители долго истолковывали ее деревенские рассказы и, горестно разводя руками, много раз повторяли:

– Нищета! Боже, какая нищета!

Молочнице объяснили, как она сама может открыть дверь черного хода, если придет слишком рано, и она этим пользовалась, но, входя, всегда коротко оповещала:

– Танючка!

Однажды она сказала бабушке:

– В твого зятя не горло, а чисте золото!

Бабушка не сразу поняла, о чем речь, потому что папа пел крайне редко, трезво оценивая свои вокальные данные, но в следующий раз похвала Танючки папиному голосу совпала с моментом, когда на патефоне крутилась пластинка Лемешева с арией Ленского: «Куда-а-а, ку-у-уда...»

Папа потом очень радовался и, пожимая плечами и нежно улыбаясь, говорил:

– Танючка!

Патефон

Помню мой первый патефон (не знаю, было ли что-либо подобное в семье до войны). Его откуда-то принес дедушка и был он, кажется, немецкий. Больше всего мне, конечно, нравилось его заводить, или, как говорилось, накручивать. Для этого надо было справа вставить ручку и крутить ее, пока не застопорит, подобно тому, как заводили мотор в автомобилях. Еще в патефоне был блестящий никелированный звукосниматель, вращающийся на шарнире, с круглым диском, в который следовало вставить острую и толстую иглу, способную прошить палец насквозь в случае падения звукоснимателя (он был чрезвычайно тяжел). Под звукоснимателем, положенным на рычажок была круглая лунка для запасных игл – двух-трех, остальные (много) лежали в крутящемся выдвижном, как бы потайном, ящичке размером со спичечный коробок.

Итак, волшебный ящик открывался, из крышки вынималась хранящаяся там в зажимах ручка, ручкой заводилась невидимая пружина, пружина, освобождаясь от стопора, приводила в движение диск с шипом посередине, на каковой шип надевалась пластинка с цветной наклейкой и названием, а иногда и с гламурной фотографией, похожей на раскрашенную фотооткрытку, на пластинку выкладывали звукосниматель, описывавший в воздухе головокружильную дугу, игла постепенно въезжала в пазы-дорожки вращающейся пластинки, раздавалось шипение, которого никто не замечал, затем слышалась, наконец, музыка, и можно было разобрать слова: «У самовара я и моя Маша», – и дедушка подхватывал: «А на дворе совсем уже темно» – запрещенный Лещенко.

Иногда игла начинала прыгать на одном месте, и певец по много раз повторял одно полслова, пока адаптер брутально не передвигали на другое место. Подчас тенор начинал петь басом и очень медленно: кончался завод и следовало быстро подкрутить ручку, но тогда тенор на время превращался в дискант. Все это было забавно и требовало серьезных изысканий, чем я с удовольствием и занимался, одновременно привыкая к голосам Лемешева, Козловского, Александровича, Обуховой, Бейбутова, Утесова и т. д.

Кажется, патефон был не у всех, и это была роскошь, и я научился петь вместе с Утесовым:

И у меня есть тоже патефончик,
Только я его не завожу,
Потому шо он меня прикончит:
Я с ума от музыки схожу.

Потом патефон как-то совершенно незаметно исчез из нашего обихода – у меня появилась сказочная роскошь: долгоиграющий проигрыватель с двумя скоростями – 78 и 33 и 1/3 оборотов в минуту – и красной легчайшей корундовой иглой. Это было то, о чем я давно мечтал, уже влюбленный в классическую музыку. Но это произошло только в 1955 году, когда родители захотели как-то порадовать меня после тяжелой операции и выложили на это дело триста рублей – деньги немалые.

Бинокль

Из вещей, которыми я дорожил, был у меня еще цейсовский бинокль, подаренный мне дядей Бобой и вынутый им, по его словам, из немецкого танка. Это было волшебное занятие – приближать далекий предмет, подкручивать окуляры, следить, где окажется рисочка, а затем резко перевернуть бинокль и рассматривать как бы издали поднесенную к самому стеклу собственную руку в невероятном удалении.

Потом, когда я стал посещать театр, я, сидя на галерке, смотрел в свой полевой бинокль, который, по мнению бабушки, было неприлично брать в театр; зато в него можно было разглядеть то, что ни один театральный бинокль, предлагаемый в гардеробе, не показывал, – как наложен грим, какова мимика актера, ну, и какие женщины сидят в партере.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.